
ИНТЕРВЬЮ

ПРОИЗВОДСТВО ИДЕОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:

**Интервью гл. науч. сотр. ИНИОН РАН О.Ю. Малиновой
с кандидатом философских наук, доцентом философского
факультета МГУ, заместителем главного редактора
газеты «Известия» Б.В. Межуевым**

Интервью записано 30 мая 2013 г.

О.М.: Борис Вадимович, как Вам видится ситуация с производством идеологий в современной России? Разумеется, я не имею в виду классические «измы» или партийные программы – с последними ситуация, к сожалению, понятна. Речь о более или менее четко артикулированных представлениях о проблемах и перспективах нашего общества, которые образуют водоразделы, определяющие политический «ландшафт». Понятно, что такие представления содержат некую ценностную позицию и предположительно выражают «угол зрения» определенных социальных групп, – хотя последнее в нашем контексте еще требуется подтвердить. Вы не только исследователь современной общественной мысли, но и публичный интеллект, т.е. знаете процесс изнутри. Поэтому прежде всего хотелось бы спросить: как Вы оцениваете степень профессионализации сферы идеологического «производства»? Кто участвует в создании такого рода смыслов? Кому и зачем это нужно?

Б.М.: Мне представляется, что интеллектуальное, идеологическое поле в России становится все более и более инструментальным. Эта тенденция к инструментализации наблюдается с начала нулевых годов, но в последние три года она стала особенно заметна.

Без учета этого вообще невозможно ничего понять. Люди меняют свои позиции раз в полгода. Некоторые, наверное, и чаще. Притом совершенно бессмысленно указывать им на этот факт, в нашей стране это считается нормальным. В ситуации же, когда отсутствует политическая память, когда отсутствует рефлексия собственного политического опыта, сложно развивать политическую философию и политическую идеологию. Конечно, все меняют свои позиции. Но мыслитель отличается от болтуна тем, что он постоянно объясняет, чем вызвано такое изменение, находя для этого определенные основания. В нашем случае желание что-то объяснить на 95% отсутствует.

Мы сталкиваемся с ситуацией, когда производство идей, идеологий становится абсолютно автономно от процесса интеллектуальной рефлексии. Поэтому люди спокойно переходят из лагеря власти в лагерь оппозиции и обратно. Все понимают, какими мотивами это обусловлено: человек вчера еще писал речи для администрации президента, сегодня – он уже на Болотной площади. Также и в обратную сторону. Этот переход становится очень легким.

О.М.: *А почему так происходит?*

Б.М.: Ну как Вам сказать? Прежде всего, цех политической науки проиграл сражение пиару, политическим технологиям. Я очень ясно это ощутил, когда в начале нулевых годов стал отдаляться от политической науки. То, что происходило на рубеже 1990–2000-х годов, было не только столкновением кланов, но и столкновением политической мысли с набором политических практик. И технологии победили. Я не буду сейчас подробно говорить о том, как это произошло, но оказалось, что технологически можно все. В журнале «Полис» печатались огромные статьи про тренды регионализации. Но оказалось, что это никакая не проблема и все можно быстро изменить. Другой пример: на рубеже 1990–2000-х годов было ясно, что спектр общественного сознания сдвигается чуть-чуть влево. Но оказалось, что посредством технологических манипуляций его можно повернуть правее центра, и т.д. И политическая наука сдалась. Она не смогла сопротивляться. Она не выработала какие-то жесткие экспертные принципы, которые могла бы неуклонно отстаивать. Экономическая наука действовала иначе, и экономисты как раз смогли создать мощное экономическое лобби. Они смогли утвердиться в западной науке, их представителей цитируют в ведущих западных журналах. У них была чет-

кая политическая позиция, мне абсолютно не близкая, но тем не менее вполне определенная. И эту позицию экономический цех очень мощно пробивал. Он проиграл в конечном счете, но он проиграл не сразу, не быстро.

О.М.: *Нужно отметить, что такое соотношение публичных позиций политической и экономической науки – не только в России. Я помню, как на конференции IPSA в 2008 г. в Монреале, посвященной развитию политической науки в мире, Джон Трент, председатель Исследовательского комитета по изучению политической науки как дисциплины (RC 33), в своем пленарном докладе констатировал, что политологи, в отличие от экономистов и в какой-то мере социологов, не могут заставить лиц, принимающих решения, прислушиваться к своим рекомендациям. Исключения можно пересчитать по пальцам. Он отмечал это как проблему, как отражение некоего дефицита статуса политической науки, обусловленного ее состоянием.*

Б.М.: Мне кажется, все это в принципе совершенно естественно. Но это все-таки совершенно разные ситуации. Взять хотя бы США – это утвердившееся, стабильное общество, где политическая конституция фактически остается неизменной уже два с лишним столетия. В России иное дело, у нас никто не понимает, в какой политической системе кто живет. Что собой представляет правительство: это подотдел администрации президента или самостоятельный политический орган? Политическая система фактически меняется от одного электорального цикла до другого... Это создает определенные возможности для цеха политической науки. Этот цех несомненно мог бы стать гораздо более влиятельным в российском обществе, мог бы использовать какие-то контакты с Западом... Если бы у их представителей было бы хоть какое-то чувство собственной миссии в обществе и сознание связанности этой миссией. Не надо далеко ходить за примерами. Мы видим, к цеху экономической науки власть вынуждена прислушиваться. От политологов же требуется либо пропаганда, либо, в лучшем случае, проанализированная статистика.

Я присутствовал на встрече Путина с политологами... Путин общался с нами довольно вежливо, подчеркнуто уважительно. Я поставил тогда вопрос о характере политического режима. Я сказал, что люди с Болотной площади выступают не против Вас лично, Владимир Владимирович, они выступают против той сис-

темы, в которой такие огромные полномочия президента и такие огромные сроки его пребывания у власти. Путин согласился: «Нам не нужна восточная деспотия, надо что-то думать...». В общем, мотивировал политологов на поиски, на дискуссию. Я уверен, что если бы что-то подобное было сказано экономистам, то появилось бы, условно говоря, десять монографий относительно того, что и как делать. Политологи даже не собрались вместе, чтобы обсудить, что и как делать.

О.М.: *Можно уточнить: когда Вы говорите об инструментализации интеллектуальной жизни, с деятельностью каких акторов Вы связываете эту тенденцию? Кто участвует в производстве идеологий в России? Понятно, что это разные люди и у них разные мотивы. Почему они оказываются податливы соблазну «инструментализации»? Это вопрос материальных интересов?*

Б.М.: Безусловно, на этом поле есть деньги. И одним из факторов является сокращение международного участия, поддержки различных независимых организаций... Но это не просто вопрос поиска средств для существования – это вопрос каналов влияния. В России инструментализация привела к снижению значения и роли произносимого слова. В дореволюционной России было неприлично публиковать проплаченные материалы, это считалось непрофессиональным, теперь же, когда ты написал заказуху и все понимают, что за твоим текстом стоят какие-то дополнительные интересы, то это выглядит респектабельно. А если ты высказываешь только свое мнение, соотнося его с твоим собственным пониманием политического процесса, то это мало кому интересно.

О.М.: *Но с другой стороны, именно на рубеже 1990–2000-х годов в нашей стране появился слой людей, которых можно назвать «профессиональными идеологами», – круг публицистов, стремившихся обосновать некую ценностно осмысленную альтернативу курсу 1990-х годов. Это были образованные люди, которых интересно читать. Они писали не для академического сообщества – они пытались повлиять на общественное мнение и делали это вполне целенаправленно. Мне кажется, что и Вы принадлежите к этой когорте... Появились тексты, которые по своему интеллектуальному качеству заметно отличались от партийной публицистики 1990-х годов.*

Б.М.: Я не соглашусь про 90-е годы. Они были сложные. Но интеллектуальная работа тогда производилась серьезная. Я рабо-

тал в «Полисе» и, в общем, помню уровень отдачи. Понятно, что были сумасшедшие энтузиасты, в хорошем смысле этого слова. Покойная Таня Шмачкова, Игорь Константинович Пантин, в какой-то момент – Михаил Васильевич Ильин, несомненно. Такого я больше не видел. Это были, действительно, люди, которые посвятили себя делу просвещения. В нулевые, во-первых, многие ждали, и я ждал, что появится некое новое поколение, и оно должно было появиться, которое будет недовольно существующей ситуацией и тем, что произошло с их страной, что это поколение бросит вызов существующему порядку вещей. И оно появилось. И в какой-то момент оно просто потрясающе раскрылось. В 2003 г. на авансцену публицистики, преимущественно сетевой, вышли авторы, которые затмили на время либеральных коллег. Они, как правило, не были профессиональными политологами. Самый яркий из них как публицист, как литератор был Костя Крылов. Александр Филиппов называл его – и вполне заслуженно – первым пером России. Замечательным интеллектуалом был Михаил Ремизов. Егор Холмогоров – человек, пытавшийся формировать своего рода центральную линию движения. Хочу назвать еще такого очень интересного публициста, как Павел Святенков. Очень активно публиковался мой однокурсник Юрий Тюрин, который сейчас проживает в Дании. Прекрасным автором был, да и остается Виктор Милитарев. Юрий Солозобов – человек более старшего поколения, но фактически игравший роль своего рода наставника младоконсерваторов, как мы себя тогда назвали. Хочу назвать еще двух людей, кто примыкал к этому движению, кто был старше нас и кого сейчас уже нет с нами, – филолог и политолог Вадим Цымбурский и дипломат, политолог и публицист Сергей Кизюков, который публиковался под псевдонимом Вадим Нифонтов.

В общем, на сцену если не большой политики, то большой публицистики вышла многочисленная когорта людей, которая должна была потеснить оппонентов и бросить вызов властям. Их конкретные идеологические позиции – левые, правые, националистические, интернациональные – меня, честно говоря, в тот момент не очень заботили (и это потом сыграло некоторую роль в моем отчуждении от этого движения), меня очень привлекало стремление этих людей подвергнуть критике, иногда пристрастной, иногда чрезмерной, но обоснованной, все политическое наследие предшествующего поколения.

О.М.: *И они были способны это сделать на достаточно высоком интеллектуальном уровне.*

Б.М.: Да, это так. Еще немного, и мы получили бы взрыв всей интеллектуальной ситуации в стране, поскольку эти люди готовы сделать почти невозможное – осмыслить, причем творчески, наследие «отцов». Константином Крыловым была написана биография философа Александра Зиновьева, чего, кстати, не сделал ни один профессиональный философ. Он досконально, сочувственно разобрал всю его концепцию. Показал, что из себя представляет пресловутая «коммунальность». Что это вообще за теория «глобального человеяника»? Каково было отношение Зиновьева к коммунизму? Я не могу сказать, что стал после этой книги большим поклонником Александра Александровича, но мне показалось очень интересным это быстрое и качественное с литературной точки зрения проникновение в некую не совсем тривиальную систему идей.

Плюс одновременно благодаря Интернету возникла возможность для чтения, для проникновения в интеллектуальный мир, в первую очередь – англоязычный. Появилась возможность узнавать, как на Западе производятся идеи, из чего они рождаются. Например, кто такой Фукуяма? С какими, скажем, мозговыми центрами он связан? Кто такие неоконсерваторы, которые оказали такое влияние на младшего Буша в канун войны в Ираке? Все это стало доступно любому мыслящему пользователю Интернета, и чтобы что-то узнать по этому поводу, уже не надо было ходить по специальным библиотекам и читать специальные журналы, а можно было просидеть несколько часов за компьютером, не выходя из собственной комнаты. Это же поразительная вещь! Оказалось возможным стать специалистом в какой-то сфере, не получая специальное образование. Это, конечно, способствовало расцвету интеллектуальной жизни.

Наш проект «Terra America» был продолжением этого интеллектуального процесса. Мы вдруг поняли, что Америка осталась тем единственным местом, откуда мы черпаем свои мысли, идеи, концепции и т.д. И это, оказалось, можно исследовать, исследовать Америку не как отдельную страну, а как наш мир идей. Исследовать, чтобы не оставаться пассивными реципиентами чужих идей.

Я назвал эту общность людей, объединенных желанием бросить вызов поколениям отцов, доведшим страну до унижительного второсортного положения, «политическим поколением». Это люди, которые осознали факт зависимости, несuverенности своей страны как, в том числе, и личную проблему. Я считал, что это поколение почти что впервые в советской истории открывает для себя политическую свободу, свободу как приоритетную и непреходящую ценность. Нужно было только убедить этих людей, что национальная свобода должна быть дополнена индивидуальной свободой. Кстати, многие были готовы принять эту точку зрения, оттого и появилось в стране такое течение, как национал-демократия. Но, к сожалению, представлявшие ее люди слишком быстро двинулись в сторону политического активизма, хотя еще лет пять им стоило поработать на ниве философии, истории и публицистики, так чтобы в конце концов они смогли стать самым влиятельным в России течением общественной мысли. И уж тогда конвертировать свою культурную гегемонию в политическую. Пока это все было слишком зелено и незрело, а вся политическая активность поначалу была слишком завязана на хорошо понятные москвичам миграционные проблемы.

Определенной проблемой для «политического поколения» стало то, что престиж идеологии и вообще всех интеллектуальных материй в «нулевые годы» резко снизился. За все идеологические и политические вопросы стал отвечать в середине «нулевых» человек, стоящий даже по формальным критериям не на самых высоких позициях в административной иерархии. В первом сроке Путина Волошин соединял в себе функции идеолога и высшего администратора, он отвечал за все общественное мнение и, конечно, определял идеологию. А Владислав Юрьевич Сурков, при всем уважении, – это был человек «номер тридцать» в иерархии правящего класса. Но для интеллектуалов и общественного мнения он был человеком «номер один». Что это означало? Ты мог формулировать самые умные, самые ценные мысли, и тебя могли заметить только в соответствующем пропагандистском отделе Старой площади. При этом либеральные экономисты имели хороший доступ в кабинеты самых влиятельных лиц.

О.М.: *Другими словами, если ты хочешь не просто писать, но и на что-то влиять, возможности очень ограничены...*

Б.М.: Да, абсолютно. Тогда – никакого реального влияния на реальную политику не было и быть не могло. Сейчас немножко другая ситуация. Тогда была модной тема башен Кремля. Вот есть башня, отвечающая за молодежную политику, совсем уж темная башня, туда проникнуть хотели немногие, эту башню обходили стороной. Есть более светлая башня известного отдела управления внутренней политики, туда случалось попадать многим, и мне в том числе. И наконец, еще был лондонский штаб революции, который периодически подкидывал кому-то какие-то деньги на свои абсолютно бессмысленные проекты. И вот «политическое поколение», как между трех сосен, заблудилось в этих трех башнях. До 2008 г. ничего другого, помимо этих трех башен, просто не существовало на поле публичной политики. Все остальное было как дворец олимпийских богов – далеко за облаками. И вот «политическое поколение» заблудилось и потеряло себя в этой виртуальной политике «нулевых». И несмотря на изменившуюся ситуацию, оно продолжает плутать до сих пор.

О.М.: *Можно уточнить? Получается, что проблема – в невозможности влиять на принятие решений... Перспектива влиять на мнения общества казалась недостаточно привлекательной? Почему?*

Б.М.: Понимаете, всем надо на что-то жить. Я не думаю, что для этих людей было проблемой заработать себе на жизнь. Возможно, сейчас с моей позиции мне легко говорить, но мне кажется, что серьезная проблема выживания возникла из-за неправильного выбора. То есть в этой ситуации, мне кажется, нельзя было вообще заниматься политикой. В инструментальном смысле слова. Лучше было потратить время на философский, культурный, исторический прорыв, тут силы были немереные, потенциал колоссальный, и все это было без толку растрачено ради участия в политике третьего уровня значимости.

О.М.: *Политике – в смысле хождения на территорию власти?*

Б.М.: Или на сторону оппозиции. Костя Крылов, например, двинулся в сторону оппозиции и стал довольно известным ее участником. И не только он. Все эти люди, они, конечно, продолжают что-то писать, но их интересы лежат вне области текстов. И в общем, никакой серьезный, фундаментальный журнальный проект сейчас практически невозможен. Из людей, преимущественно пишущих, практически остался один я. Андрей Ашкерov. Ну еще,

может быть, Павел Святенков, хотя у него сейчас нет подходящего издания. Либералы пережили неприятные для себя «нулевые», выдержали весь этот шквал претензий, весь этот пароксизм боли и негодования, и в конечном счете снова победили.

О.М.: Победили в каком плане?

Б.М.: Они все-таки сохранили свою культурную гегемонию: сохранили популярные, престижные СМИ. Нынешняя реакция работает в конечном счете на либералов, на их авторитет и влияние, поскольку получается теперь, если ты не с ними, то с репрессивными органами. А если не со Следственным комитетом, то неизбежно с «Эхом Москвы». И понятно, что в этом противостоянии обречено победить именно «Эхо Москвы», потому что за СК не просматривается никакой перспективы.

О.М.: Можно ли сказать, что «политическому поколению» удалось сохранить некоторое сообщество пишущих людей?

Б.М.: Мне трудно судить, сохранилась или нет между нами какая-то культурная связка, поскольку я лично общаюсь с другими бывшими коллегами довольно мало. С кем-то чаще, с кем-то реже, с кем-то вообще не общаюсь. Последняя была у меня надежда на какое-то возрождение политического поколения, это когда мы с Михаилом Ремизовым работали в Фонде «Стратегия 2020» и пытались играть какую-то самостоятельную роль в политике, точнее, может быть, играть в самостоятельность. Дважды что-то такое проникновенное публиковали на развороте «НГ-Политика», заявляя о «реванше интеллектуального класса».

Но поколение потеряло боевитость. И в этом смысле, конечно, никаких идеологий оно не делает. Многие гордятся тем, что они внесли в отечественную политическую повестку тему национального. И действительно, мне кажется, она стала более ощутимой сегодня.

О.М.: Надо сказать, что они сделали это достаточно свежо и ярко.

Б.М.: Да, они очень этим гордятся. Это их право. Это действительно сыграло определенную роль – появление национальной темы. В последнее время она усиливается на фоне миграционной проблемы, проблемы Северного Кавказа и т.д. Но даже и она потеряла политическую остроту. Помните, как она звучала в 2010–2011 гг.? В общем-то, «болотные» события начали националисты. События на Чистых прудах начал Навальный с теми, кого он «видел

на Русском марше». Было ощущение, что национал-демократы – это передовой отряд оппозиции. Но к концу следующего года они утратили лидерство даже на нелиберальном фланге оппозиции. Я подозреваю, что у многих представителей власти, в частности, тех, кто имеет связи с Чечней и Кавказом, были свои резоны, чтобы ослабить именно националистический сегмент протестного движения и чуть-чуть усилить левых интернационалистов удалцовского толка.

О.М.: *Если сопоставить ситуацию в России и США, за интеллектуальной жизнью которых Вы, насколько я знаю, следите, – что общего и в чем различия? Почему в современной России так плохо обстоит дело с производством идеологий? Ведь у нас богатейшая национальная публицистическая традиция, породившая даже особый феномен – интеллигенцию... Что изменилось?*

Б.М.: Я начну с того, в чем вижу сходство России и США. Во-первых, и там и тут огромную роль играют политические кланы. Конечно, в первую очередь, экономические, но они имеют политическое значение. Клан Кеннеди, например. Известно, что левые прогрессисты ориентируются во многом на клан Кеннеди. Во-вторых, там тоже имеет место инструментализация интеллекта.

Но помимо этого есть одна вещь, которая нас различает. Я бы назвал это принуждением к рефлексивности. Американская культура вообще очень рефлексивна. Там невозможно выдавать публично набор каких-то экономических и политических рецептов, не обозначая основания своей позиции. Каждый спикер, который высказывает какую-либо точку зрения, должен обозначить, какой идеологией она мотивирована: «Я либертарианец, потому что...». Или «я экономический либерал...» (В Америке это не то, что у нас или в Европе. Это скорее социал-либерал.) «Я консерватор, и поэтому я...» и т.д. Конечно, есть и лоббирование экономических интересов. Но все-таки общий интерес – это не просто риторический значок на специальном интересе. Нельзя вчера говорить одно, а завтра другое – это мгновенно обнаружит десяток изданий. Изменение позиций публичного интеллектуала, не важно, чем оно мотивировано, моментально фиксируется. У нас же налицо культура забывания...

Мне кажется, что важную роль в этом принуждении к рефлексивности играет леволиберальная пресса. Тот же журнал «The New Yorker». Для меня «The New Yorker» – это в первую очередь

тот жанр, который мы с коллегами называли «интеллектуальными исследованиями». Это некие политически ангажированные исследования генезиса тех или иных политических деятелей, оснований тех позиций, которые они занимают. У нас об этом писать бессмысленно.

Мы когда-то с Александром Ивановичем Неклессой составили рейтинг российских интеллектуалов и потом задавали разным людям вопрос: а что думает каждый из них о победителях, вошедших в верхнюю часть списка? Почти никто этого не знал. Был список властителей дум, и никто не знал этих дум... «Политическое поколение» как раз и должно было заняться расчисткой авгиевых конюшен отечественной политической мысли, и тогда через некоторое время они могли бы претендовать на политическое доминирование и влияние. Тогда же, кстати, в Америке началось движение, которое получило название «борьба с экспертами», его возглавил Гленн Гринвальд, знаменитый блогер. Никита Куркин во втором номере издаваемых нами рабочих тетрадей РЖ опубликовал о нем исследование. Эти блогеры критиковали военных экспертов, которые не отвечают за свои рецепты, экономических экспертов, которые не отвечают за свои прогнозы. Гленн Гринвальд стал в определенный момент героем блогосферы. Мы попытались в 2012 г. пойти его путем и сделать исследование о том, что говорили в 2003 г. наши авторитетные отечественные эксперты о возможном участии России в иракской войне, как они убеждали российскую власть присоединиться к интервенции и, во всяком случае, ни в коем случае не возражать Вашингтону. Но никто не обратил внимания на наши изыскания, включая самих экспертов!

Несмотря на то что проблема инструментализации интеллектуальной жизни является общей и для России, и для Америки, большую роль там играет левая или либертарианская критика псевдокомпетентного экспертного мнения, не дающая расслабиться болтающему классу. Конечно, в Европе большое значение имеет феномен свободного интеллектуала, позиция которого культивируется немного искусственно. В России почти всегда были свободные интеллектуалы, но сейчас их почти нет, они перестали существовать как класс. Я могу по пальцам перечислить людей, чье мнение по какому-либо вопросу я бы хотел знать, просто потому что меня бы интересовало его сугубо частное мнение, а не

потому, что этот человек был бы выразителем какого-то клана или корпорации, или потому, что он выражал бы мнение начальства.

О.М.: *Но в 1990-х такие люди были. Они пришли из диссидентских времен, из шестидесятников. Многие из них просто ушли из жизни...*

Б.М.: Да, многие ушли из жизни, многие уехали за границу. Взять, к примеру, «Полис». Там в 1990-е было просто созвездие очень ярких людей среди авторов: Клямкин, Пастухов, Капустин, Константин Сорокин, Цымбурский, Ильин, Виктор Сергеев, многие другие. Цымбурского уже нет на свете, Капустин и Пастухов работают за границей. Ушли из жизни такие люди, как Дмитрий Фурман, Карл Кантор, Григорий Померанц... Интеллектуальная жизнь с их уходом очень оскудела.

О.М.: *Общество апатично?*

Б.М.: Дело не в апатии. Скорее, в незаинтересованности среды в наличии интеллектуального слоя. В идеологическом плане оно становится все более расколотым и вместе с тем более однообразным. Меня поразило, как рассосался в «нулевые годы» «яблочно-здоровый» электорат, в котором была значительная доля технической интеллигенции. Эти люди потеряли всю свою оппозиционность и ее нравственные основания и очень быстро повелись за теми, кто питает их недовольство. И в общем, не их в этом вина. Им нужен повод для возмущения, и «Эхо Москвы» предоставляет его каждый день. Люди уже на следующий день забывают, чем они были недовольны вчера, но им нужно быть недовольными. Они становятся зависимыми от того, кто им объяснит, почему они недовольны. Самое плохое, что им, в общем, не нужно знать, как сделать так, чтобы было хорошо. Им нужно знать, почему им плохо. И им нужно каждый раз получать контент, подкрепляющий их недовольство. Для многих исчезло понимание отличия подлинной повестки от псевдоповестки. Здесь можно вспомнить концепцию общества спектакля. В какой-то момент утрачено было и само желание подлинности...

Для меня самое роковое событие – то, с какой готовностью в 1999 г. интеллектуальный избиратель принял кандидатуру Путина. В чем-то Владимир Владимирович оправдал надежду, в чем-то нет. Я сейчас не об этом. Но сама готовность людей принять полное *incognito* за два месяца, когда для этого не было ровно никаких оснований, когда понятно, какие силы и для чего его выдвигали,

когда специально была устроена война, чтобы соответствующий кандидат победил... Я считал, что это катастрофа вне зависимости от того, удачный кандидат Путин или нет. На меня смотрели с удивлением многие из тех, кто сейчас весьма недоволен происходящим, и говорили: «Ты не понимаешь. Это светлое будущее. Это возрождение и укрепление». Какое светлое будущее? Понимаете вообще, что произошло? После этого с обществом никто никогда не будет считаться. С парламентом не будут считаться, с прессой не будут считаться, с регионами не будут считаться, с интеллектуалами уж точно никто не будет считаться. Мне говорили: «Да нет, ты не понимаешь, это креативный класс победил. Поскольку он создал эту победу». Я не понимал, как можно ожидать, что слой нанятых технологов в дальнейшем будет что-то определять, коли ему удалось пару раз обдурить собственный народ.

О.М.: Видимо, речь идет об «интеллектуалах» определенно-го направления?

Б.М.: Об интеллектуалах на службе у власти, конечно. Но не только на службе у власти. Это была огромная сетевая структура, которая объединяла PR-службы, отделы рекламы. Generation P, как назвал этот слой Пелевин. Года четыре эти люди действительно жили в полной уверенности, что они – соль земли и истинный контур власти, что они такие подлинные демиурги постсоветской действительности, что они – люди будущего и все такое. И только в 2003 г. им ясно показали, что их место сугубо служебное, сугубо вторичное. В 2005 г. им дали понять, что их готовы терпеть в качестве сотрудников отдела агитации и пропаганды. Сегодня они должны публично исповедовать те идеалы и ценности, с которыми боролись в 1998–1999 гг. В ином случае они выбывают из команды.

О.М.: Это «разборки» внутри элиты? За ними не стоит никакой борьбы идеологических позиций?

Б.М.: Интеллектуалы, конечно, чувствуют себя сегодня изгоями. Их отбросили от кормушки, отвергли. Тех, кого оставили, – это единицы. Возникла зона огромного отчуждения между интеллектуалами и властью, которая растет и усиливается день ото дня. Конечно, возникают какие-то группы, лоббирующие ту или иную идеологию, типа патриотов Изборского клуба или там социалистов-интернационалистов Левого фронта. Но я бы как раз не с ними связывал надежду на подлинную идеологизацию политики. Идеологии как идеологии сегодня не мертвы, они бессильны, по-

тому что у них на руках уже всем известные и давно битые карты. Типа культа Сталина или, напротив, развенчания культа Сталина. Мы ведь знаем, какая фраза в споре сталинистов и антисталинистов будет произнесена в ответ на другую фразу. Мы знаем все, абсолютно все аргументы в этом споре.

Гораздо более любопытен тот факт, что в последнее время главные политические конфликты в обществе происходят вокруг проблем науки и образования, чему наиболее яркое свидетельство – конфликт относительно реформы РАН. Почему? Да потому, что реальная классовая подоплека всего, что сейчас происходит в сфере реформы образования, – это вопрос о положении интеллектуального класса в России. Не секрет, что образованный класс вообрал в себя множество людей, которым не нашлось места ни в экономике, ни в политике. Молодым людям, ориентированным на карьерный рост, но не способным встроиться в клановую систему, сегодня один путь – в цеха интеллектуального производства – или прямо за границу. Потому что любой другой путь чреват очень проблемным встраиванием в систему, постоянными компромиссами с совестью и многими другими сложностями. Поэтому им, как писал поэт, «осталась одна отрада» – защищать диссертацию и искать прибежища в университете или академическом НИИ как в своего рода секулярном монастыре и искать оттуда выхода на Запад. Так вот, сегодня именно по этим монастырям и наносится удар реформы. Разумеется, это приведет к серьезному социальному конфликту, тем более, что реформа затрагивает интересы, так сказать, крупной интеллектуальной буржуазии, т.е. самих академиков, но это мощное академическое недовольство хорошо резонирует с левым протестом против обнищания населения на фоне сжатия денежной массы. Либеральная фронда сама по себе была обречена на изоляцию в своей среде, фронда академиков мгновенно объединила все общество – и либералов и патриотов. Не случайно, что мы видим сегодня и значительное полевание университетского сообщества.

В принципе для новых левых с их социально-ориентированной идеологией и набором культурных претензий к консервативному государству студенчество всегда было питательной средой. Поэтому будущее за идеологиями, которые смогут артикулировать социальные и образовательные интересы интеллектуального класса, но также их культурные приоритеты, которые могут быть, конечно,

крайне либеральными, во всяком случае, альтернативными поправке, в том числе в культурном отношении, государству. Это, я думаю, было бы действительно важным фактором нашей идеологической жизни. В этом смысле меня удивляет, почему, например, оппозиция не сделала упор на студенчество? Во-первых, студенчество – слой, соединяющий Москву и регионы. Это интеррегиональный слой людей. Во-вторых, это очень массовый слой с большими материальными и статусными запросами. Студенчество – это мощная социальная сила. С одной стороны, их очень много, избыточно много для той сырьевой модели экономики, на которую делает ставку власть. А с другой – никто не знает, куда девать этих людей, убрав их из сферы науки и образования, поскольку политика и экономика закрыты для большинства из них, а в чернорабочие они, как вы понимаете, не пойдут.

И тут очень важна мысль, которую я приписываю – не знаю, насколько обоснованно, – Иммануилу Валлерстайну, о том, что модернизация – это не продукт экономического интереса, а продукт страха, – страха элиты перед несоциализированной люмпенизированной массой, которую надо было не столько накормить (ибо дармовой хлеб только развращает и озлобляет), сколько занять каким-то делом. Наше экономическое возрождение произойдет не в тот момент, когда страна впишется в глобальный рынок, а когда власть, наконец, испугается, что сотни тысяч безработных людей с большими жизненными запросами разнесут страну в клочья, как это происходит на наших глазах в Египте. Надо напугать истеблишмент, чтобы он начал открывать рабочие места, центры образования, начал всерьез думать о социальном прогрессе, движущая сила которого – животный страх элиты за свою безопасность. Как только власть испугается, что вот эта никому и в самом деле не нужная масса выпускников вузов выйдет на площадь и уже не уйдет с нее, потому что дома ее представителей будут ждать злые жены и голодные дети, вот только тогда власть будет вынуждена распечатать кубышку и начать строить фабрики, заводы, школы, институты не потому, что от всего этого сразу будет толк, а просто для того, чтобы бывшим студентам было куда уйти с площади. А уж потом, через поколения, мы будем гордиться новыми мирового масштаба цехами и материального, и интеллектуального производства. Тогда, возможно, мы сдвинемся с мертвой точки. Я бы считал, что надо работать именно на эту перспективу, потому что

с ней я связываю что-то позитивное. Разумеется, я надеюсь, что все это произойдет как можно более мирно, системно, в хорошем смысле консервативно, поскольку перспектива политической победы низов интеллектуального класса меня так же мало воодушевляет, как и нынешний застой. Элиту надо хорошенько напугать, но если свергнуть эту элиту, на смену ей придет другая, скорее всего, еще худшая.

О.М.: *Борис Вадимович, благодарю Вас за увлекательную и откровенную беседу. Спасибо, что завершаете на столь оптимистической ноте.*